

терзали и замучили Шестова, превратили его в настоящего мученика веры. Как тот «бедный рыцарь», о котором сложил такие чудные стихи Пушкин, Шестов «имел одно видение, непостижимое уму»², и только этим видением и держался духовно. Но драма была в том, что цепи, которые его не пускали в заповедную область веры, куда это видение звало его, — *были мнимые*, что в действительности никаких цепей вовсе не было.

Это был особый крест Шестова, — и то, что он его нес с таким мужеством и верностью, что он не изменил ни разу тому чудному видению, которое лучами Откровения сияло перед ним, — есть его незабываемая заслуга в истории русской религиозной мысли. Шестов своими терзаниями, своей осужденностью стоять у порога веры, не входя в сладость ее обители, искупал грехи русской мысли, поскольку она была обольщена позитивизмом Запада. Шестов глубоко и мучительно страдал от внутренней драмы, которая была в его душе, — но этими страданиями он искупал не личный грех, а грехопадение целых поколений. Стоя у самой границы обетованной земли, он сам в нее не вступил, но без устали, как добрый и верный раб, он расчищал путь для других...

Да найдет же душа его то, что так любил, о чем томился, но чего не имел здесь в жизни верный слуга Божий.

Б. Ф. ШЛЁЦЕР

Памяти Л. И. Шестова

Трудно очень мне писать о Л. И. Шестове как о покойнике, и нужно сделать над собою большое усилие, чтобы отчетливо представить себе, что его нет среди нас, что больше не поеду я к нему в Булонь, не позвоню у столь знакомой мне двери, не увижу приветливой улыбки, не услышу его голоса: «Хотите чаю? Свежий, только что заварен...»

Покидая его в последний раз перед отъездом в конце июля, я уходил однако со смутной тревогой: он показался мне еще больше похudevшим, физически ослабевшим до истощения; но ум его был по-прежнему так остр, напряжение душевных сил так сильно, столь страстно звучала его речь, когда беседа касалась излюбленных им тем, что не верилось в близкую опасность, и я отогнал возникшее беспокойство, не отдавая себе отчета, что опасность таилась именно в этом внутреннем пламени, сжигавшем его немощное тело.

Он ведь был не из тех философов, которым удается уйти от действительности, замыкаясь в круге своих мыслей; и не из тех также, которые, не убегая от нее, все же находят некоторое утешение и спа-

сение во всеобъемлющих синтезах и диалектических истолкованиях; из них же явствует, что то, что происходит, оскорбляет и бьет нас, не могло не произойти и вполне естественно. Он не в состоянии был и, главное, не хотел «вознестись» над преходящим, чтобы понять его. И в последние годы он на него реагировал, мне кажется, с еще большею чуткостью, с еще большею силой, чем раньше. Не сомневаюсь поэтому, что все то, что сейчас вокруг нас происходит, вся мерзость, грозящая нас захлестнуть, ускорили его смерть, нарушив в конце концов хрупкое равновесие, которое кое-как поддерживалось между его мощным духом и изнемогающей плотью. В этом отношении он был тем более уязвим, что отдаленность событий во времени и в пространстве почти вовсе не отражалась на остроте его восприятий, на глубине переживаний.

Здесь нам открывается, мне кажется, одна из основных черт Шестова — и как человека, и как мыслителя, — черта, определившая поведение его и философскую позицию.

Когда осенью прошлого года под влиянием надвигающейся войны я написал ему особенно взволнованное письмо, он тотчас ответил, что тревожиться и возмущаться следовало давно уже; что ужас, охвативший нас, потому что опасность надвинулась вплотную и грозит нам лично, должен был пробудиться гораздо раньше, и не только когда стали сыпаться бомбы на испанские и китайские города, но и в те времена, когда царствовал еще так называемый мир, а на самом деле мира не было; что наше безразличие к тому, что происходит где-то далеко, и неумение вместе с тем вскрыть зло, которое таится около нас, стремление даже забыть о нем и успокоиться на том, что делать нечего; в этом-то именно и состоит наш грех. Мы спим, но наступает наконец такой момент, когда спать уже нам не дают, как бы нам этого ни хотелось. Для человека момент этот обычно приходит лишь тогда, когда его самого берут за горло. Шестов же постоянно боролся всеми силами против естественной человеческой спячки и жил в состоянии непрерывной внутренней тревоги.

В предисловии к «Философии трагедии» он приводит слова Белинского (где уже содержится вся проблема Ивана Карамазова), требовавшего ответа за все жертвы истории и отказывавшегося от будущего благополучия, купленного ценою стольких страданий. На слова эти обычно не обращали внимания; они ведь находились в резком противоречии с остальными высказываниями Белинского, с его гегельянством и настойчивой верой в прогресс. Она вырвалась у Белинского словно невзначай, но поразительно соответствовала насущнейшей потребности и всему мироощущению Шестова (которому, по выражению одного критика, «везло на цитаты»¹). Для Шестова прошлое как таковое не существовало — оно было настоящим; насилие и несправедливость, учиненные некогда над Сократом, вовсе не являлись историческим событием, которое имело место более двадцати веков тому назад

и к которому, конечно, следовало отнестись спокойно, с полным безразличием: мало ли какие безобразия когда-то и где-то творились! Достаточно нам и собственных забот. Событие это произошло здесь, на глазах Шестова, оно все еще длилось и будет длиться... если только не свершится чуда, и «бывшее станет не бывшим».

Эта мысль об уничтожении не последствий факта, а самого факта — дерзновеннейший вызов, когда-либо брошенный разуму (как справедливо указал Бердяев в своей речи в Религиозно-философском обществе), — находилась в глубокой, тесной связи с душевным строем Шестова, с тем, что можно было бы назвать его антиисторичностью, с исключительно своеобразным восприятием им времени и пространства, благодаря которому и Сократ, и Паскаль, и Спиноза, и Киркегард становились в полном, реальном, смысле слова его современниками.

И, конечно, точно так же не могло быть для Шестова и национальных, религиозных перегородок; они просто не входили в его сознание. Рассказывал же он, с каким удивлением он прочел однажды: «гениальный немец Ницше». Никогда до того ему не приходило в голову, что Ницше немец: Ницше был его другом, страстные поиски и борьбу которого он делил; и вовсе не «гениальный» писатель и философ, а живой человек, безмерно несчастный.

В последнее время Шестов стал усиленно заниматься индусскими философами. Из бесед наших по этому поводу для меня становилось ясным, что он совершенно не считался с историей и географией, не обращал внимания на то, что эти люди были индусами, писали на чужом ему языке, что способ их мышления и выражения, по мнению комментаторов, был отличен от нашего. Да, отличен, — соглашался он мимоходом, — но не в этом же дело. И Шестов быстро открыл в них новых друзей и соратников в борьбе: ведь движимы они были тем же порывом; искали они того же, к чему стремились и сам Шестов, и дорогие его сердцу мыслители Запада, — спасения.

Перечитывая недавно «Философию трагедии», я спрашивал себя, знал ли Шестов по собственному опыту, пережил ли лично ту отвратительную «безысходность», в которой он усматривал сущность трагического, сорвать с него ореол величия и героизма, созданный поэтами и философами, лишив его всякой «возвышенности». Ответить категорически на подобный вопрос было бы чрезмерной смелостью даже со стороны ближайших друзей. Позволительно, однако, предположить, что, если подобно нам всем, он пережил тяжкие удары и принял свою долю страданий, личная его судьба, как будто, не была трагической в том смысле, который он сам придавал этому слову, прилагая его к Ницше, к Киркегарду. И однако «Философия трагедии» — страшная книга, и могла она быть написана лишь человеком, испытавшим безысходность. Шестов ее испытал действительно, мне кажется, он знал ее не спекулятивно, а упершись сам в глухую стену,

потому именно, что Ницше и Достоевский вовсе не были гениальными авторами великих творений, а живыми людьми, такими же людьми, с которыми он встречался в обыденной жизни, быть может, даже не более несчастными, но острее осознавшими основную трагичность человеческой жизни и отчаяннее борющимися. И безумие Ницше было его, Шестова, безумием; метания Паскаля — его метаниями; отчаяние Киркегарда, потерявшего свою невесту, — его отчаянием.

Все мы почти замкнуты в себе, сосредоточены на самом себе; душа же Шестова была совершенно разомкнута. Эта личность, столь сложная, богатая и сильная, оказывалась вовсе лишенной эгоцентризма и себялюбия, и Шестов, действительно, становился «всею для всех», не по мягкости или чувствительности, не пассивно, но действенно, потому что дух его вырывался за пределы, которые ставит себе наше «я», ревниво оберегая себя и отделяясь от других. «Доброта» — слово настолько опошленное, насколько оно ныне отождествлялось с дряблостью, сделавшись даже для многих чуть ли не синонимом глупости, что стесняешься его применить к такому человеку, как Шестов; но я должен это сделать, должен сказать, возвращая слову «добрый» его подлинный вес и смысл, что Шестов был безмерно добр, и что, когда сейчас я думаю о нем, в уме возникает прежде всего образ не гениального мыслителя, а исключительно отзывчивого человека, стремящегося помочь всем, в беде готового на все жертвы ради других, проявлявшего при этом (что меня всегда поражало) неожиданные практические способности, деловитость, энергию, которые тотчас испарялись, как только вопрос касался его собственных интересов.

И думается мне, что эту активную доброту его следует тем более подчеркнуть, что она — именно та почва, на которой развилась его философия, родившаяся из любви не к человечеству, а к конкретной человеческой личности, из острого чувства обиды за каждого из нас. Разве не отсюда же вырос его протест против факта, борьба с разумом, на вечные времена закрепляющим («это было») все гнусности, страдания и оскорбления?

В статьях о Шестове — и самому мне приходилось об этом писать — указывалось неоднократно, что он жаловался на непонимание, на отсутствие признания и т. п. Но это не совсем так, в сущности. Поражало его и мучило его другое: каким «образом люди не видят, не чувствуют самое важное»? Почему они покорно переносят и даже стараются объяснить и оправдать свое бессилие перед торжествующим злом? Почему они принимают как естественное, очевидное, само собой разумеющееся то, что представляется ему, Шестову, чудовищным и проблематичным. Вопрос, мучительный вопрос, был для Шестова не в том, что «идей» его не принимают, не признают, а в том, что те самые люди, которые отдают дань его уму, его таланту, считают его крупным писателем и проникновенным критиком и проч., вовсе не принимают участия в его

борьбе и, любуясь ею со стороны, в глубине недоумевают: к чему вся эта тревога, это возмущение, неустанное борение, подрывание «идеалов», явно безнадежное, — и не отдают себе вовсе отчета, что шестовское дело является их же делом. Что касается «идей», «учения», то чувство собственности в этой области (да и не только в этой области), заботы о каком-то приоритете, были ему абсолютно чужды. Можно ли об этом думать, говорить, когда речь идет о жизни, о смерти?

Его полное безразличие к своим «правам» меня, признаюсь, даже несколько раздражало иногда; я возмущался, если встречал где-либо мысли, характерные выражения, примеры, у него заимствованные, без точного указания источника; меня злило, что читатели порою принимали из вторых рук и в ослабленной редакции то самое, что они оставляли без внимания в книгах Шестова. Но Шестов в таких случаях горячо защищал автора против моих нападок. Он радовался лишь тому, что нашелся еще один человек, понявший, что «факт не есть ответ», что «тут есть проблема». «При чем я тут?» — повторял он в таких случаях. И я уверен, что, если бы кто привел без кавычек, без упоминания его имени, целые фразы его, выдавая за свои, он несколько бы не огорчился, не возмутился, был бы доволен; напротив: значит, недаром проходит его тревога, значит, способны же некоторые проснуться...

В последние годы, однако, он становился в этом отношении менее доверчивым; наученный опытом, он с некоторым скептицизмом принимал уверения тех, которые утверждали, что отлично понимают, к чему он стремится, и разделяют его мысли, ибо ему неоднократно приходилось убеждаться, что далее этого чисто теоретического «разделения мыслей» и преклонения перед его порывом и смелостью дело не шло и никто почти не соглашался пуститься, по его примеру, в опасный путь на собственный страх и риск.

Думаю все же, что и сейчас уже воздействие, оказываемое Шестовым на умы, гораздо шире и глубже, чем сам он это предполагал в своем уединении. У него есть друзья, о которых он совершенно не подозревал, среди французской молодежи; у него есть преданные ученики — они рассеяны повсюду. Я знаю некоторых, мышление которых Шестов совершенно перевернул; и, в свете Шестова, они пытаются пересмотреть все свои убеждения, насущнейшие для них вопросы. Они по-своему, конечно, его толкуют, они ищут и схватывают в Шестове то, что каждому из них необходимо, проходя порою мимо того, что нам, знавшим лично Шестова, представляется наиболее важным, основным. Но кто же способен претендовать на роль хранителя и судьи шестовской ортодоксии? Да если бы таковая и могла быть выработана и раз навсегда установлена, вся работа Шестова оказалась бы тем самым убитой, дело его окончательно проигранным: для истинных последователей Шестова его книги, прежде всего, живой фермент, такой же фермент, каким были для самого Шестова Лютер, Паскаль, Достоевский, Ницше...